

<sup>53</sup> Ibid., VIII, 2, 52, p. 288.

<sup>54</sup> Ibid., VIII, 1, 37, p. 276.

<sup>55</sup> Ibid., VIII, 2, 36, p. 284.

<sup>56</sup> Ibid., VII B, 11, p. 252.

<sup>57</sup> Ibidem.

<sup>58</sup> Ibid., IX, 1, p. 304.

<sup>59</sup> Ibidem.

<sup>60</sup> Примером подобных действий является рекомендация Маврикия по поводу захваченных у неприятеля пленных: связанных, их следует выставить с той стороны походной колонны, откуда ожидается неприятельское нападение; пользуясь ими как живым прикрытием, можно вести стрельбу по противнику, не подвергаясь риску ответного обстрела. Если ромейское войско окажется в критическом положении, его безопасность может быть куплена у неприятеля ценою освобождения пленных. Если же враг откажется от таких условий, пленные должны быть уничтожены на виду у вражеского войска. — Strategicon, IX, 4, p. 324—326.

<sup>61</sup> Ibid., VIII, 1, 31, p. 274.

<sup>62</sup> Ibid., VIII, 2, 17, p. 280.

<sup>63</sup> Ibid., VIII, 2, 80, p. 294.

<sup>64</sup> Ibid., VIII, 2, 50, p. 288.

<sup>65</sup> Ibid., VII B, 11, p. 252.

<sup>66</sup> Ibid., VII A, 6, p. 234; VII A, 15, p. 242; VII B, 16, p. 262.

<sup>67</sup> Ibid., II, 6, p. 124.

<sup>68</sup> Ibid., XII B, 7, p. 424.

<sup>69</sup> Ibid., I, 8, p. 98.

<sup>70</sup> Лингвистические проблемы «Стратегикона» рассматривались: Zilliacus H. Zum Kampf der Weltsprachen in Oströmischen Reich. Helsingfors, 1935; Reichenkron G. Zur römischen Kommandosprache bei byzantinischen Schriftstellern. — BZ, 1961, 54; Mihaescu H. Les éléments latins des «Tactica — strategica de Maurice. — Urbicius et leur écho en néo-grec. — RESEE, 6—7, 1968—1969; Mihaescu H. Les termes de commandement militaires latins dans le Strategicon de Maurice. — Revue de Linguistique, 1969, 14.

<sup>71</sup> Подробнее см.: Кучма В. В. Византийские военные трактаты..., с. 74—75.

<sup>72</sup> Strategicon, VIII, 1, 25, p. 274.

<sup>73</sup> Ibid., IX, 2, p. 210.

<sup>74</sup> Ibid., VII B, 12, p. 254.

В. А. СМЕТАНИН  
Уральский университет

## ИДЕЙНОЕ НАСЛЕДИЕ ВИЗАНТИИ И «ДЕКОНКРЕТИЗАЦИЯ» (на примере эпистолографии)

Историка всегда волнует вопрос — как объективно оценить значимость источника. В том случае, если исследователь имеет дело с активным материалом, например византийскими описями-практиками, содержащими обильные фактические сведения, этот вопрос не получает острого звучания. Гораздо сложнее ситуация становится при обработке легислативных памятников, когда появляется необходимость установить, в какой степени зафиксированные нормы права отражают реальную историческую дей-

ствительность. Однако особую для понимания трудность представляют произведения поздневизантийской словесности, содержание которых завуалировано определенной знаковой системой, символикой, формуляром, клише, во многом еще нераскрытыми, что, впрочем, не дает оснований для отрицания возможности трактовки их смысла.

Сошлемся в качестве примера на литературный источник. В 1959 г. Д. И. Геанакоплос издал впервые анонимное риторическое сочинение в трех частях «На смерть императора кир Михаила Палеолога», написанное в форме «политического» стиха<sup>1</sup>. Привожу в своем переводе с греческого первую и третью части, где встречается социальная терминология:

1

Послушайте же, всей земли империи и филы,  
Семейства многолюдные, послушайте совместно  
И, в хор объединившись все, немедленно поплачьте.  
Ведь словно в сновидении, в одно и то же время  
Оставил император нас, всегда делами грозный,  
Обогативший пенитов и ставший сам опорой:  
Пурпурным одеяниям, мечу и диадеме  
И царственному всякому иному знаку власти.  
Но вот пошли к могиле мы, о горе, о несчастье.

3

Скажи, о смерть, что ты несешь, какие мечешь стрелы,  
Которыми ты губишь всех и в тлен все превращаешь:  
Ты не щадишь ни архонтов, ни тех, кто в диадеме,  
Ни малого, ни бедного, и даже чужеземцев.  
О, если бы погиб твоей змеинный корень власти,  
На свет продвинувший росток — коварного убийцу,  
Зловещего и страшного, растлителя всех смертных,  
Унесшего, о горе мне!, из нашей середины  
Великого начальника латинян Михаила,  
Ромеев гордую красу и славу всех отважных.

Стихи были написаны, вероятно, в Константинополе в конце XIII или в первой половине XIV в. по поводу смерти Михаила VIII Палеолога (1.XII.1258—11.XII.1282) или, что также вероятно, его внука Михаила IX, соимператора (21.V.1294—12.X.1320). Сочинение нельзя считать автографом знаменитого византийского ученого Димитрия Триклиния — это обосновал, по словам издателя, палеографическими соображениями А. Турин, ибо лист, содержащий стихи, написан совершенно другим почерком и является посторонней вставкой, переплетенной с триклиниевой рукописью Гесиода (последняя подписана в 1316 и 1319 гг.).

Цитированное сочинение содержит несколько групп исторических фактов, перечисление и анализ которых в совокупности не является в данном случае задачей. Ограничимся рассмотрением только социальной терминологии. В 19 стихах источника упоминаются пять терминов: пениты, архонты, микри, птохи и ксены. Сущность большинства из них, как свидетельствует спе-

циальная литература, до конца еще не раскрыта. Рассматриваемый источник позволяет проследить изменение статуса пенитов в правление указанного выше императора. Перечисляя разряды византийского общества, Аноним начинает с архонтов и императоров (буквально «императорской власти»), затем называет микров, птохов и ксенов. В отличие от традиционного для византийских авторов трехчленного деления на правителей, богатых и бедных и бинарного членения на «больших» и «малых», здесь отсутствуют звенья «большие» и «богатые», которые вряд ли можно идентифицировать с архонтами («правители»), зато перечисляются «малые» и «бедные». Перечень завершается чужеродным в данном случае элементом «ксены».

Приведенный пример анонимного произведения не может быть принят как попытка ответить на вопрос — много или мало дают специалисту подобные литературные труды. Такая оценка может сложиться лишь в результате вовлечения в научную обработку большинства идентичных произведений. Конечно, способы прочтения сочинений словесности зависят от используемой методики, и последняя не может не наложить отпечатка на выводы. Методические вопросы приобретают в связи с этим методологическое звучание.

Историческая мысль упорно подыскивает ключ к овладению всем содержанием поздневизантийских трудов словесности. Будет ли он найден, покажет будущее. И хотя эта задача представляется нелегкой, ее позитивное решение вооружило бы исследователей новыми историческими фактами.

Эпистолярное наследие как разнovidность византийской литературы таит немало нераскрытых загадок. В высшей степени спорным являлся с конца XIX в. даже вопрос о содержании византийского эпистолярия, иными словами, выступал ли он носителем информации.

Более глубокое изучение взглядов византинистов, высказавшихся по вопросу о значении эпистолярия, позволяет выделить два направления среди ученых, которые в методологическом плане отражают борьбу противоположных, классово различных идеологий в византиноведении — буржуазной и марксистско-ленинской.

С 90-х гг. XIX в. по настоящее время оценка поздневизантийского эпистолярия в буржуазной науке (вернее, даже всего византийского эпистолярия в целом, ибо принцип историзма совершенно отвергался) претерпела изменения.

Крайне суровый приговор византийская эпистолография получила в тех работах, которые отражали линию М. Троя. Эта концепция оформилась в последнее десятилетие XIX в. и прежде всего в статье М. Троя «Михаил Италик»<sup>2</sup>. М. Трой подчеркивал, что бессодержательных писем «бесчисленное множество», «для нас самое ценное в таких письмах — адреса... из писем мы сами ничего не получаем»<sup>3</sup>. Адептами линии М. Троя выступили

В. И. Барвинок, П. Маас, Ф. Дэльгер и др. В. И. Барвинок писал: «письма византийцев бедны историческими сведениями, смысл их местами непонятен», они «вообще мало пригодны»<sup>4</sup>. «Груды византийских писем, — по мнению Ф. Дэльгера, — действительно не содержат ничего кроме формы»<sup>5</sup>.

Прозвучала не только глобальная уничтожающая критика эпистолярия в целом. Скептическое отношение к эпистолографии проявилось в широком диапазоне — до спорадических высказываний об отдельных авторах эпистолярных посланий. А. Гейзенберг, А. Пападопуло-Керамевс, В. И. Барвинок, А. А. Васильев, П. Маас, Дж. Каммелли, Р. Гийан, Ф. Фукс и другие дали удручающие характеристики ряду эпистолографов. По словам М. Троя, «в качестве устрашающего примера» выступают послания Никифора Хумна: «Кто нынче мог бы их читать, не сожалея одновременно о том заблуждении?» К. Крумбахер, опираясь на свой авторитет, безапелляционно отверг значение эпистолярного творчества Михаила Гавры: «То или другое его письмо — ничто кроме как пустословие; даже рассматриваемый лишь с точки зрения формы этот легкомысленный словесный завиток утомляет благодаря стереотипному повторению одинаковых слов, оборотов и смысла»<sup>6</sup>.

В работах М. Троя термин «деконкретизация» еще отсутствует, но содержание этой идеи, не получившей тогда терминологического обозначения, изложено было впервые М. Троем. Он стремился доказать, что поздневизантийский эпистолярный — бессодержательный источник. Разочаровавшись в эпистолярии, он пытался объяснить причины бессодержательности, с его точки зрения, эпистолярного наследия тем, что «уже рано возобладали языковой, чисто формальный интерес: значение развернутых мыслей отступило перед *callirremosyne*»<sup>7</sup>.

В конце XIX столетия византиноведческий мир в связи с возросшим потоком опубликованных писем столкнулся с непохожим на другие источники материалом. Не владея научной методологией диалектического и исторического материализма, византилисты того времени проявили растерянность и пришли к нигилистическому выводу о невозможности использования такого специфического вида источников, как письма, в историческом исследовании. Влияние М. Троя испытали многие византилисты его времени. Положительные оценки эпистолярия<sup>8</sup> стали редкими.

Относясь к составлению эпистолярных произведений словно к великому искусству, ромеи тщательно заботились о форме писем, нередко в ущерб содержанию. «Каждое отдельное письмо, — по словам М. Троя, — должно было быть по стилю маленьким словесным произведением искусства». Ромеев «восхищали, в конце концов, больше всего те письма, в которых обсуждались в прекрасной форме самые незначительные обстоятельства». И. Сикутрис заметил, что особенно ценилась попытка «уклониться от

ужасной картины будней и порхать в сфере желаемых представлений»<sup>9</sup>.

В связи с этим историку приходится постигать «едва заметные утонченности» в византийских письмах<sup>10</sup>. Как видно, первоначально исследователи объясняли «деконкретизированную» природу писем некоторыми специфическими требованиями поздневизантийской эпистолярной теории: 1) письмо должно было выступать, прежде всего, в качестве сообщения; 2) в послании намеренно могли не указывать определенных сведений. Сопровождавший письмо (*ho grammatocomistes*) передавал устно ту информацию, которую опасались предать огласке в случае вскрытия послания посторонним; 3) письмо учитывало характер, настроение, состояние (*диафесис*) адресата, а не адресанта; 4) оно должно было содержать материал, приятный для адресата; 5) оно считалось ценнее всех благодетей, лучшим лекарством, поводом к радости, удовольствию; 6) письмо трактовалось не только как сообщение, но и как беседа (друга с другом); 7) оно рассматривалось как признак дружеского отношения; 8) послание понималось как замена совместного пребывания (идея парусии — присутствия); 9) оно должно было иметь подобающее построение, архитеконику, структуру; 10) соразмерность объема письма зависела от требований времени; 11) размер послания и его содержание не были взаимосвязаны, взаимообусловлены; 12) письмо не имело свойственного лишь эпистоле предмета речи, как было в античности; 13) краткость слога должна была обязательно сочетаться с 14) ясностью изложения, смысла; 15) противоборствовали два направления: а) стремление к рассказыванию и б) составление писем отточенным литературным языком, по образцу речей; 16) в любом случае письму должны были быть присущи изящество, элегантно красноречие (эпистолографы ориентировались на существовавший обычай зачитывать письма вслух в кругу друзей, с последующим обсуждением); 17) правилом являлась умеренность в использовании апофтем, пословиц, стихотворных перифраз, фигур, образов мифологии<sup>11</sup>.

Если не забывать того, что эпистолографы не передавали в письменном виде сведений, которые могли бы вызвать нежелательные последствия при их огласке, и приукрашивали материал, который мог вызвать неприятные чувства у адресата, а также того, что размер послания и насыщенность его фактическими данными не были связаны функциональной зависимостью, можно согласиться, что содержание поздневизантийских писем немало пострадало от усвоения изложенных принципов эпистолярной теории.

К. Крумбахер дополнил это наблюдение, обратив внимание на стереотипы. Конформные выражения фиксировал в письмах Иосифа Вриенния Ф. Мейер<sup>12</sup>.

Несколько позже «деконкретизированную» природу эпистолярия стали объяснять также господствующей установкой вре-

мени приблизиться к постижению Идеи как преломлению персонафицированной закономерности через отмежевание от суетного и предельную вневременную и внепространственную абстракцию.

Убийственная оценка М. Троя и его линии отпугнула исследователей, и процесс изучения эпистолярия затормозился. Г. Фатурос, опубликовавший в 1973 г. часть эпистолярного наследия Михаила Гавры, отметил, например: «Эта сдержанность филологов по отношению к Гавре возникла не в последнюю очередь благодаря ужасному приговору К. Крумбахера»<sup>13</sup>. Резко негативные высказывания о поздневизантийских эпистолографах были, если хотите, модными, в духе науки того времени.

Концепция М. Троя не отменяла напрочь все письма, позволяя себе небольшую уступку. По мнению М. Троя, «скверными» являются не все письма поздневизантийских авторов, «имеются прекрасные исключения, в которых находит отражение личность, духовный мир пишущего письмо. В этом отношении даже письма вечно голодного учителя Феодора Иртакина... имеют более высокую ценность, чем письма многих величин в государстве и церкви». Заметим, что содержательные письма М. Трой рассматривал лишь как «исключения».

В начале 30-х гг. текущего столетия оформилась линия И. Сикутриса, который четко сформулировал вывод принципиального значения: «Неделовой стиль письма господствует, как правило, в византийской эпистолографии»<sup>14</sup>. С забвением наиболее вызывающих положений концепции М. Троя, с именем И. Сикутриса связано модифицированное представление о поздневизантийских письмах, которое господствовало в буржуазном византиноведении до конца 50-х гг. И. Сикутрис отказался от категоричности и нигилизма концепции М. Троя, сохранив, однако, в несколько завуалированном виде, основную идею, принцип, подход в оценке литературы посланий. Стержневая мысль, связующее звено линий М. Троя и И. Сикутриса — это идея деконкретизации. Сохраняя приверженность идее М. Троя о «бессодержательности» эпистолярной литературы, И. Сикутрис подчеркивал «неделовитость» как главную особенность эпистолографии. Однако концепция И. Сикутриса — это сглаженный вариант линии М. Троя.

Модификация линии М. Троя проявилась в двух тезисах. И. Сикутрис говорил не просто о «прекрасных исключениях», как это допускал М. Трой, но полагал, что «часто встречаются также сборники писем, которые позволяют нам глубоко взглянуть на внешнюю и внутреннюю жизнь их составителей и обогащают наши исторические знания». Далее И. Сикутрис подчеркнул необходимость более тщательного, серьезного, продуманного, упорного изучения эпистолярных сочинений: «Из некоторых сборников писем, не имеющих ценности для историков, ищущих факты на поверхности, можно узнать многое о лицах и вещах, если применить к ним более точную интерпретацию, смягчить

тон в выражениях по отношению к чрезмерному набору слов». Следовательно, И. Сикутрис признавал большее количество пригодных для исследования эпистолярных источников и допускал возможность их умножения за счет более кропотливого изучения писем. В качестве примеров он указал на эпистолярный Максима Плануда, Григория Кипрского. И. Сикутрис высказывал недоумение, что византийскую литературу писем до сих пор оценивают как скудный исторический источник и в литературном и самостоятельном культурно-историческом значении не осознают ее важности<sup>15</sup>. Он настаивал на необходимости издания всех эпистографических источников *in extenso* вместе с реальным и формальным комментарием<sup>16</sup>. Это способствовало тому, что специалисты стали отказываться от скоропалительных формулировок в негативном плане о значимости посланий. Ф. Дэльгер признал, что «остаётся достойным призыв более серьезно отнестись к византийской эпистографии, которая являлась для византийцев отчасти возмещением поэзии»<sup>17</sup>. Давая литературную оценку эпистолярному наследию Византии, П. Энепекидис подчеркнул важность более пристального внимания к нему<sup>18</sup>. Эту мысль отстаивали также Г. Карлссон, Р. Браунинг<sup>19</sup>.

В трудах В. Лорана, П. Караниса, И. Шевченко, Г.-Г. Бекка, Р. Гийана, Р. Браунинга, Дж. Мейендорфа, Д. Оболенского, П. Шрайнера, Г. Карлссона, Г. Фатуроса, Г. Вайса и других все больше подчеркивается значение отдельных, конкретных писем. «Доктрина всемирного императора,— заметил Г. А. Острогорский,— никогда не была сформулирована более веско или с более пылким красноречием, чем в том письме, которое патриарх Константинополя послал в Москву из великого города, заблокированного турками»<sup>20</sup>. Речь шла о послании Антония IV, патриарха Константинополя (1389—1390, 1391—1397), Василию I в Москву, написанном между 1394 и 1397 гг., которое было охарактеризовано Д. Оболенским следующими словами: «Имеется немного документов, которые выражают с такой силой и ясностью основу теории средневекового Византийского государства. Письмо патриарха Антония содержит в себе классическое выражение доктрины универсальной Восточно-Римской империи, управляемой василевсом, наследником Константина и наместником бога, природным и богом назначенным господином ойкумены, верховным законодателем христианского мира, чья власть простирается, по крайней мере в духовном и «метаполитическом» смысле, над всеми христианскими правителями и народами. Факт, что это бескомпромиссное исповедание веры было сделано из столицы государства, которое смотрело в лицо политической и военной гибели, только подчеркивает удивительную силу и преемственность этой политической мечты, которая пропитывает всю историю Византийского государства»<sup>21</sup>.

Э. Арвейлер назвала письмо № 8 Никифора Влеммида «очень важным текстом»<sup>22</sup>. Иосиф Вриенний имеет «собрание очень по-

учительных писем к Феодору Мелитиниоту, Иоанну Оловолу, Димитрию Кидонису, Николаю Кавасиле, Мануилу Палеологу и др.»<sup>23</sup> Письмо Иоанна Хортасмена № 44 Димитрию Пепагомену — «характерный документ тогдашнего духовного уровня византийцев»<sup>24</sup>. Ж. Верпо, непревзойденный исследователь в изучении эпистолярия Никифора Хумна, имел все основания сказать следующее: «Корреспонденция Никифора Хумна изобилует указаниями, которые позволяют в широком объеме представить это общество, занятое воспеванием военных успехов византийских войск, управляемых его сынами, представить радости сельскохозяйственной кампании, в которой ее участники присматривали за администрацией своих владений»<sup>25</sup>. Письма Иоанна Апокавка «полны важных сведений по истории церкви»<sup>26</sup>. Образцом важности некоторых византийских писем Р. Гийан<sup>27</sup> называет письмо № 32 Феодора II Ласкариса, которое, кстати, С. А. Антониади проанализировала в специальной статье. Конечно, по традиции еще высказывались сетования (как это сделал Р. Гийан) на то, что византийские послания содержат «зачастую только намеки на события или современные личности», разгадка которых представляет «очень большую трудность».

Однако «деконкретизация» и на этом этапе изучения поздне-византийской переписки не стала предметом осмысления в буржуазном византиноведении.

На рубеже 50—60-х гг. понимание поздневизантийского эпистолярия вновь модифицировалось. Эта линия связана с именами Г. Хунгера и Г. Карлссона. Основная идея концепции М. Троя и И. Сикутриса была сохранена — мысль о «бессодержательности» (М. Трой) и «неделовитости» (И. Сикутрис) литературы посланий. Она получила наименование «деконкретизации»<sup>28</sup>. Осталось на вооружении исследователей также наблюдение И. Сикутриса о важности значительной части писем для исторического анализа. Г. Карлссон отмечал, что есть надежда найти в корреспонденции, которой византийцы придавали литературное значение, «обильный материал» персонального или общественно-исторического характера. Такая установка проявилась в возрастающем количестве позитивно оцененных писем. Г. Карлссон и Г. Фатурос сообщили, что о четырехдневном, тягостном путешествии Георгия Инеота в Ганос (Фракия) «наиболее подробно и живо рассказывается» в его письме № 157<sup>29</sup>. Г. Фатурос особо подчеркнул значение таких писем Михаила Гавры, как № 163, 173, 189, 205, 207, 218, 232, 239, 243, 277, 290, 295, 327, 348, 358, 457. И. Шевченко заметил, что Феодор Метохит и Никифор Хумн занимали достойное место в эпистолярном мире их времени<sup>30</sup>. По мнению А. К. Эсцера, значение писем Димитрия Кидониса заключается в освещении исторического фона и наличии конкретных данных<sup>31</sup>. Выказано сожаление, что изучение поздневизантийской эпистолографии переживает еще только начальный этап<sup>32</sup>.

Однако не вся эпистолография, по мнению Г. Карлссона, яв-



лялась содержательной, ибо «греческое письмо средневековья может часто приближаться к тому, которое эпистолографы итальянского Ренессанса называют *lettere di visita* — письмами, которые выполняют роль визитной карточки и почти не означают большего»<sup>33</sup>. В таком случае «просопография и личные отношения автора являются единственными связывающими с современностью признаками корреспонденции»<sup>34</sup>.

Эволюция взглядов на эпистолографию проявилась в том, что Г. Хунгер и Г. Карлссон поставили вопрос о валоризации эпистолярия для специалиста XX столетия через изучение стереотипов. Г. Карлссон, трактуя «деконкретизацию» письма как «отвращение к конкретным деталям», пытался представить ее как отражение «теории дружбы»<sup>35</sup>. Г. Хунгер исходил из того, что формуляр — это специфическая манера выразить свое миропонимание, свои идеи<sup>36</sup>. Он задался вопросом, «не представляет ли собой риторическая стилизация отражение общественной структуры или по меньшей мере не может ли представлять». «У меня не вызывает сомнения, — писал Г. Хунгер, — что сознательно оформленный стиль зависит от общественного положения человека», «ведь даже орфография может рассматриваться с социологической точки зрения»<sup>37</sup>. Другими словами, «деконкретизация» в понимании Г. Хунгера и Г. Карлссона — это особая знаковая система, которая заключает в себе информацию, еще не расшифрованную исследователями. Она находит проявление не в конкретных данных, а в повторяющихся фразеологических мотивах, если исходить из того, что «письмо является формой риторики и представляет как таковое серию определенных тем и точных стилистических требований»<sup>38</sup>. «Деконкретизация» — это информация особого рода, заложенная в клише, штампы, стереотипы. «Деконкретизация» предстает перед читателем XX в. как непознанный еще мир социальных идей и как своеобразное отражение общественной структуры.

Можно заметить, что в концепциях М. Троя, И. Сикутриса, а также Г. Хунгера и Г. Карлссона нашла специфическое преломление мысль об эпистолярии как историческом источнике. От полного отрицания его значимости буржуазное византиноведение движется ко все большему признанию его как предмета исследования. Меняется даже понимание основной идеи в оценке эпистолярных произведений. Еще не отказавшись от трактовки «деконкретизации» в духе М. Троя — И. Сикутриса как отсутствия конкретных сведений в письмах, новейшая буржуазная историография уже пытается представить это понятие как завуалированный резервуар конкретных общественных идей, выраженных в форме стереотипных, шаблонных клише и фраз. Вследствие этого оно приобретает двоякое значение. Неоднозначная интерпретация «деконкретизации» свидетельствует о некотором отходе Г. Хунгера и Г. Карлссона от линии М. Троя и И. Сикутриса, о попытке раскрыть внеситуативный

смысл письма путем изучения риторических формул как таковых. От простой констатации их, что наблюдалось еще в работах линии М. Троя, пришли к мысли о необходимости осмысления стереотипов. Однако для этого буржуазной историографии потребовалось почти 80 лет, если иметь в виду первое издание (1890 г.) работы К. Крумбахера (1856—1909) «История византийской литературы. От Юстиниана до падения Восточно-Римской империи» и первое издание (1959 г.) книги Г. Карлссона «Идеология и церемониал по данным византийской эпистографии».

Марксистско-ленинское византиноведение, в отличие от буржуазного, никогда не игнорировало эпистолярное наследие как исторический источник. В такой плоскости вопрос вообще не ставился. Марксистские историки и филологи (С. А. Никитин, Е. И. Прохоров и др.)<sup>39</sup> не только не приуменьшали значимости эпистолярия, но стремились показать его важность и незаменимость. Эта мысль по отношению к византийской эпистографии более обостренно прозвучала в работе Н. С. Лебедева «Византийские источники»<sup>40</sup>. Данная оценка распространяется тем самым и на поздневизантийское эпистолярное творчество.

Изложенная позиция С. А. Никитина, Н. С. Лебедева и Е. И. Прохорова не является прямолинейной, ибо она учитывает соотношение источников по ценности на конкретном проходящем историческом этапе, неоднозначность вопросов и тем исторического исследования, решение которых может базироваться или на совокупности источников, или преимущественно на данных переписки, но вместе с тем такой взгляд помогает уяснить, что эпистолярный ряд может иногда подниматься до значения одного из основных источников, выступать неизменно в отдельные периоды в качестве такового или даже становиться основным при отсутствии прочих материалов или их малочисленности. Роль эпистолярия может модифицировать, следовательно, в зависимости от времени, наличия других источников и, наконец, целей исследования.

Н. С. Лебедев значительно заострил понимание эпистолярных трудов, считая их не просто «одним из основных источников», как это делали С. А. Никитин и Е. И. Прохоров, но относя их «к одному из основных видов исторических источников», считая их, таким образом, самостоятельным «видом». Мысль, высказанная Н. С. Лебедевым, была априорной. Для того, чтобы принять ее, нужно было доказать, что эпистолярий имеет уникальную архитектуру, неповторимую внутреннюю структуру, ибо специфика внутренней формы — критерий размежевания различных видов письменных источников. На примере поздневизантийских писем такая попытка уже была предпринята<sup>41</sup>.

Не следует отождествлять «деконкретизацию» письма с бессодержательностью. «Деконкретизация» — это особая форма

или способ информации. Язык писем — определенная формулярная система, довольно сложная и условная. Но это привычная, выработанная практикой, со своим арсеналом средств конкретная форма изъяснения ромеев XIII—XV вв., не раскрытая еще специалистами нашего времени. Расшифровать ее нелегко. Гораздо проще отринуть мысль о возможности раскрыть смысл письма, упрощая тем самым или даже вульгаризируя содержащуюся в эпистоле информацию. Ни беглого, ни многократного прочтения письма недостаточно. Оно раскроет тайну, если исследователь познает завуалированный смысл традиционных риторических формул.

Правило «деконкретизации», отразившееся и на форме византийского романа<sup>42</sup>, не обесценивает значимости литературы писем, хотя и весомо затрудняет их толкование. Учитывая, что «деконкретизация» в византийское время не являлась абсолют<sup>43</sup>, не следует гипертрофировать ее как универсальную черту, свойственную всем письмам ромеев. На разных этапах развития византийского эпистолярия уровень, степень, объем «деконкретизации» были неодинаковыми. Если идея «деконкретизации» прижилась в буржуазном византиноведении и трактуется как неизменный феномен эпистолярия всего византийского времени<sup>44</sup>, то это объясняется методологической установкой — не замечать существенных сдвигов в развитии эпистолографии<sup>45</sup>.

«Деконкретизация» должна быть объяснена и использована как особый свод сведений. «Не будем с пренебрежением, только как к филологическому курьезу, подходить к тому, что нам чуждо»<sup>46</sup>. Как форма выражения общего, как инструмент максимального обобщения, «деконкретизация» была порождением средневековой действительности и стала своеобразным отражением общественной психологии. Она не являлась результатом творческого бесплодия<sup>47</sup>. Известно, что «средневековье в изобразительном искусстве, как в литературе и фольклоре, стремилось выразить в первую очередь общее»<sup>48</sup>. Система стереотипов обеспечивала это наилучшим образом. Изучение традиционных формул позволит лучше охарактеризовать господствующие идеи и полнее обнажить социальные противоречия ромейского общества. Если клише не сразу поддаются расшифровке, лучше сказать *non liquet*, нежели их просто отвергнуть.

Уже имеется опыт изучения риторических формул как таковых — метод Г. Хунгера и Г. Карлссона. Однако он оказывается недейственным, ибо не учитывает функцию времени<sup>49</sup>. Функциональный смысл формул не оставался неизменным, вследствие этого, «может быть, изучать письма следует с иных позиций, выясняя видоизменение стереотипов и стараясь проникнуть через стереотипы к социальной психологии эпохи»<sup>50</sup>. Выявление значения устойчивых, но варьирующих формул неминуемо подводит к вопросу об общественной борьбе<sup>51</sup>.

Вряд ли будет правильным считать, что «деконкретизация» эпистолярного наследия свойственна только византийскому письму и выступает «самым существенным новым признаком»<sup>52</sup>.

Помимо открытой информации, заложенной в конкретном содержании письма, византийские эпистолярные произведения пронизаны скрытой, завуалированной информацией, еще не разгаданной, заключенной в стереотипные риторические фразы и клише. Речь идет о риторическом формуляре писем. Изучать его следует с учетом времени и общественного положения эпистолографа. Ни открытая, ни завуалированная информация не имели всеобщего характера. Риторическую стилизацию тем более не следует гипертрофировать как универсальную черту переписки, свойственную всем письмам ромеев и всем этапам развития византийского эпистолярия. Формуляр не обесценивает значимости писем, хотя и весомо затрудняет их толкование. Соотношение открытой (конкретное содержание письма) и завуалированной (риторический формуляр) информации было неравномерным. По различным причинам и мотивам та или другая могли выступать на первый план в том или ином конкретном письме. Поэтому систему риторических стереотипов нельзя трактовать как неизменный феномен эпистолографии византийского времени. Главным источником информации в письмах является открытая информация. Значение завуалированной информации можно оценить лишь после того, как исследователи раскроют тайны риторической стилизации. Для обозначения завуалированной информации византийских писем используются словои́ды «риторический формуляр», «риторическая стилизация». Это позволяет отчлени́ть риторические клише и фразы от собственно «эпистолярных формул». Последние выступали своеобразным каркасом письма, создавая «подобающее построение» (*to eicos schema*). Они не являются главным носителем информации. Собственно функцию открытой информации выполняла прежде всего апангелия (сообщение).

Эпистолография как один из видов исторических источников может быть названа многослойным свидетельством по характеру информации. Она выступает то шедевром литературного мастерства, то псевдохудожественной безвкусицей, носителем то уникального фактического материала, то шокирующей фрагментарности уже известных сведений, источником открытой и завуалированной (риторическая стилизация) информации, причем все это может проявиться и в одном из перечисленных вариантов, и в причудливом переплетении их. Проанализированная в том или ином разрезе, в зависимости от целей исследования, эпистолярная литература может раскрываться поразному. Так, например, исследователя может заинтересовать либо несхожесть переписки с хроником и легислативными документами в том, что первая обнажает, зачастую в предельно открытой форме, духовный мир индивидуума, социальную психо-

логию представителя той или иной общественной группы, либо уровень конкретно-исторического содержания (уникальность, откровенный тон, рассказ от лица очевидца), либо амплитуда эпистолографической информации (широта сведений и охват большинства регионов) и т. п. Вследствие этого оценка эпистолярных произведений не может быть однозначной. Степень насыщенности поздневизантийской переписки фактическим материалом должна определяться не гомогенными оценочными суждениями, а научными критериями — выявлением исторических фактов по тому или иному конкретному вопросу, их анализом (уникальность, повторяемость, спорадичность или отсутствие) с учетом специфической природы писем как источника (индивидуальность реакции эпистолографа, приукрашивание негативного материала, наличие «темных» мест, риторический формуляр).

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Geanakoplos D. J. *Emperor Michael Palaeologus and the West*. Cambridge (Massachusetts), 1959, p. 382. 1—18; 383. 19—28.

<sup>2</sup> Treu M. Michael Italikos.— BZ, 1895, Bd. 4, S. 1—22.

<sup>3</sup> Ibid., S. 4.

<sup>4</sup> Барвинок В. И. Никифор Влеммид и его сочинения. Киев, 1911, с. 340.

<sup>5</sup> Dölger F. Рец. на кн.: Sykutris J. *Probleme der byzantinischen Epistolographie*. Actes du III<sup>e</sup> Congrès International des Études Byzantines. Athènes, 1932.— BZ, 1932, Bd. 32, H. 2, S. 396.

<sup>6</sup> Krumbacher K. *Geschichte der byzantinischen Literatur*. 2. Aufl. München, 1897, S. 482.

<sup>7</sup> Treu M. Michael Italikos, S. 4. В переводе это слово означает «плавность речи, бойкий язык».

<sup>8</sup> Dieterich K. *Geschichte der byzantinischen und neugriechischen Literatur*. Leipzig, 1902, S. 28; Соколов И. И. Никифор Влеммид, византийский ученый и церковный деятель XIII в. СПб., 1912, с. 39.

<sup>9</sup> Sykutris J. *Probleme der byzantinischen Epistolographie*.— Actes du III<sup>me</sup> Congrès international d'études byzantines, p. 298—299.

<sup>10</sup> Sykutris J. *Epistolographie*.— RE, 1931, Supplementband 5, S. 220.

<sup>11</sup> Подробнее о поздневизантийской теории эпистолярного стиля см.: Сметанин В. А. Эпистология поздней Византии. Прозевсис.— АДСВ. Свердловск, 1978, вып. 15, с. 60—67.

<sup>12</sup> Meyer Ph. *Des Joseph Bryennios Schriften, Leben und Bildung*.— BZ, 1896, Bd. 5, S. 105.

<sup>13</sup> Fatouros G. *Die Briefe des Michael Gabras (ca. 1290 — nach 1350)*. Wien, 1973, Tl. 1, S. 14.

<sup>14</sup> Sykutris J. *Epistolographie*, S. 219.

<sup>15</sup> Sykutris J. *Probleme...*, S. 295.

<sup>16</sup> Ibid., S. 309.

<sup>17</sup> Dölger F. Рец. на кн.: Sykutris J. *Probleme...*, S. 397.

<sup>18</sup> Enepekides P. *Der Briefwechsel des Mystikers Nikolaos Kabasilas*.— BZ, 1953, Bd. 46, H. 1, S. 18—28.

<sup>19</sup> Сметанин В. А. Эпистология поздней Византии. Постановка проблемы и обзор историографии.— АДСВ. Свердловск, 1977, вып. 14, с. 64.

<sup>20</sup> Ostrogorsky G. *History of the Byzantine State*. Oxford, 1956, p. 492.

<sup>21</sup> Obolensky D. *Byzantium and Russia in the Late Middle Ages*.— Europe

in the Late Middle Ages, ed. by Hate J. R., Highfield J. R. L., Smalley B. London, 1965, p. 259.

<sup>22</sup> Ahrweiler H. *Études sur les structures administratives et sociales de Byzance*. London, 1971, IV, p. 60, n. 6 (первое издание цитируемой статьи вышло в свет в 1959 г.)

<sup>23</sup> Beck H.-G. *Kirche und theologische Literatur im Byzantinischen Reich*. München, 1959, S. 750.

<sup>24</sup> Hunger H. *Byzantinische Geisteswelt von Konstantin dem Grossen bis zum Fall Konstantinopels*. Baden-Baden, 1958, S. 290.

<sup>25</sup> Verpeaux J. Nicéphore Choumnos homme d'État et humaniste byzantin (ca 1250/55—1327). Paris, 1959, p. 65.

<sup>26</sup> Beck H.-G. *Kirche...*, S. 708.

<sup>27</sup> Guillard R. Рец. на кн.: Antoniadis S. *Sur une lettre de Théodore II Lascaris. L'Hellénisme Contemporain*, 2<sup>e</sup> série, 1954, 8 année.—BS, 1955, v. 16, fasc. 1, p. 158.

<sup>28</sup> Karlsson G. *Idéologie et cérémonial dans l'épistolographie byzantine*. Uppsala, 1962, p. 14 (первое издание этой книги вышло в свет в 1959 г.); Hunger H. *Johannes Chortasmenos* (ca. 1370 — ca. 1436/37). *Briefe, Gedichte und kleine Schriften* Wien, 1969, S. 35.

<sup>29</sup> Karlsson G. H., Fatouros G. *Aus der Briefsammlung des Anonymus Florentinus (Georgios? Oinaïotes)*.—*Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik*, 1973, Bd. 22, S. 207.

<sup>30</sup> Sevčenko I. *Études sur la polémique entre Théodore Metochite et Nicéphore Choumnos*. Bruxelles, 1962, p. 9.

<sup>31</sup> Eszer A. K. *Das abenteuerliche Leben des Johannes Lascaris Kalopheoros*. Wiesbaden, 1969, S. 201.

<sup>32</sup> Weiß G. Рец. на кн.: Kuruses St. *Manuel Gabalas eita Matthaïos metropolitou Ephesou (1271/72—1355/60)*. Athenai, 1972.—BZ, 1975, Bd. 68, H. 2, S. 412.

<sup>33</sup> Karlsson G. *Idéologie...*, p. 62.

<sup>34</sup> Hunger H. *Johannes Chortasmenos...*, S. 35.

<sup>35</sup> Karlsson G. *Idéologie...*, p. 14, 21—33.

<sup>36</sup> Hunger H. *Prooimion. Elemente der byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der Urkunden*. Wien, 1964, S. 15.

<sup>37</sup> Hunger H. *Aspekte der griechischen Rhetorik von Gorgias bis zum Untergang von Byzanz*. Wien, 1972, S. 26.

<sup>38</sup> Karlsson G. *Idéologie...*, p. 15.

<sup>39</sup> Сметанин В. А. Новое в развитии представлений об эпистолографии.— В кн.: *Античные традиции и византийские реалии*. Свердловск, 1980, с. 9.

<sup>40</sup> Ист. журнал, 1943, № 1, с. 93.

<sup>41</sup> Сметанин В. А. *Эпистолология...*, с. 67—75, 80—82.

<sup>42</sup> Полякова С. В. Из истории византийской любовной прозы.— В кн.: *Византийская любовная проза*. М., 1965, с. 126 сл.

<sup>43</sup> См.: ВВ, 1968, т. 28, с. 299.

<sup>44</sup> Hunger H. *Johannes Chortasmenos...*, S. 35.

<sup>45</sup> Rockinger L. Über die Ars dictandi und die Summae dictaminum in Italien.— *Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, historische Klasse, Jahrgang 1861*, Bd. 1, S. 111; Sykutris J. *Epistolographie...*, S. 219—220; Hunger H. *Johannes Chortasmenos...*, S. 35.

<sup>46</sup> Полякова С. В. Из истории византийского романа. М., 1979, с. 41.

<sup>47</sup> См.: ВВ, 1968, т. 28, с. 298.

<sup>48</sup> Адрианова-Перетц В. П. *Очерки поэтического стиля Древней Руси*. М.—Л., 1947, с. 9.

<sup>49</sup> ВВ, 1968, т. 28, с. 299.

<sup>50</sup> См.: ВВ, 1973, т. 35, с. 267.

<sup>51</sup> ВВ, 1968, т. 28, с. 300.

<sup>52</sup> Попова Т. В. *Византийская эпистолография*.— В кн.: *Византийская литература*. М., 1974, с. 205—206, 208. Ср.: *Individu et société à la Renaissance*. Paris, Bruxelles, 1967, p. 15 s.